ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ

ПРИДЕТ ИЗ РОССИИ

Пушкин об историческом и культурном пути Отечества

А.С. Пушкин – мыслитель, а не только «сладкопевец». Эта мысль все меньше встречает возражений и все больше сторонников. Великое явление русского духа Пушкин размышлял о сути человека, его истории, развитии разных стран и, конечно, о России. И если самобытную русскую философию начинают нередко с Чаадаева, то уж придется скорее признать первым самобытным или одним из первых Пушкина.

На самом деле, Чаадаев заговорил о сути русской истории в первую очередь с предельно западной точки зрения. Эта точка зрения не исчерпывает полностью его воззрений, однако именно ее публикация превратила Чаадаева в фигуру весьма преувеличенного масштаба. Нетрудно понять, что западная точка зрения вряд ли может считаться началом русской философии. Скорее наоборот: началом может считаться отрицание нерусской точки зрения, которая выражена обоснованными суждениями об истории, утверждающими иную, в данном случае русскую, точку зрения. А в таком случае – это Пушкин. Мысль, к сожалению, не очень привычная, и непривычность эта объясняется, видимо, двумя обстоятельствами. Пушкин в массовом сознании представляется сказочником, поэтом, легким человеком, повесой, дуэлянтом и т. п.

Другой ряд ассоциаций, связанных с Пушкиным, – писатель, редактор, мыслитель, философ, властитель дум, публицист, критик – этот ряд принадлежит сознанию очень узкого круга людей – исследователей. Однако вряд ли можно ограничиваться первым массовым рядом ассоциаций, ведь Пушкин есть и человеческая, и профессиональная задача нашей литературы, как выразился П.В. Палиевский, и русский человек в его развитии через 200 лет по словам Н.В. Гоголя. Отсюда и тема нашего исследования: Пушкин и философия истории. Тема касается столь многого, что не может быть раскрыта в одной статье. Однако мы можем обозначить ключевые подходы Пушкина, выделить важное и неважное, выявить его оценки. Думается, важно выписать мысли Пушкина его прямыми текстами, а не считать произнесенное героями произведений словами самого Пушкина. У каждого свой – «мой» (М. Цветаева) Пушкин, однако это не весь Пушкин, а то лишь, что М. Цветаева или какой-либо иной читатель воспринял из громадного пушкинского мира. Поэтому важно прямую речь Пушкина (мыслителя, теоретика, редактора, публициста, философа, историка) четко обозначить, а уже во-вторых, через выявленные очертания его мировоззрения, изучать его художественные произведения. В данном случае вторая часть задачи останется вне рамок данной статьи.

Пушкин о русском слове

Первое требование к русскому слову дается у Пушкина в статье «О прозе»: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей позначительнее, чем у них обыкновенно водится…) (VI, 10–11). Здесь, как и далее, цитируется собрание сочинений А.С. Пушкина издательства «Правда», М., 1981. Римская цифра –   
номер тома, а арабские – страницы. И Пушкин смеется над теми, кто «никогда не скажут *дружба,* не прибавляя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру – а они пишут: "Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба" – ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что оно длиннее» (VI, 10).

Краткость вовсе не означает отсутствия пластичности. Пушкин очень гордится возможностями русского языка: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое преимущество перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавляя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе звучный и выразительный, отселе заемлет он гибкость и правильность».

И далее Пушкин продолжает разговор о других возможных влияниях на русский язык: «Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их   
(татар. – *Н.Б*.) нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка… В царствование Петра I начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастию, явился Ломоносов» (VI, 18–19).

Что же замедляет ход нашего духовного развития? По мнению Пушкина: «Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1) общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, – но кто же виноват, как не они сами. Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны» (VI, 12; см. также: VI, 21).

Как видим, для Пушкина ключ вопроса в том состоит, что сферы жизни (ученость, политика, философия) и сама обыкновенная жизнь не создали нужные нам обороты слов, не отразились в достаточной степени в словах.

Пушкин-патриот

Пушкин больно переживает за русский народ: «вечный предмет невежественной клеветы писателей иностранных» и добавляет: «Уважен хочешь быть, умей других уважить» (VI, 15–17). Эта мысль у Пушкина появляется многократно, она обдумана в разных вариантах, он много раз возвращается к разным сторонам этой темы: «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (VI, 125–126).Пушкин отстаивает достоинство русского народа и свое собственное, размышляет над нашей леностью и своей (при его трудолюбии нетрудно заметить, что это явное преувеличение и излишне строгий подход к себе). Пушкин пытается обозначить место русского народа в истории, оценить различные влияния и возможности дальнейшие.

Пушкин о французском влиянии

Для Пушкина переоценка французского влияния и роли французской культуры была весьма кардинальной.

Напомню, что он начал говорить на французском языке, а потом научился говорить на русском. Его кличка в Лицее была Француз. Дворяне в основном владели французским языком. Французская культура выступала как законодатель мод. Однако Отечественная война 1812 года с французами привела к великой переоценке этой части Европы. Франция в то время нередко выступала синонимом высшей, европейской, цивилизации и культуры. Пушкин оценивает XVIII век как век торжества французской культуры, «когда все возвышенные умы следуют за Вольтером» и его «разрушительный гений» привел к тому, что «старое общество созрело для великого разрушения» (VI, 210–211).

Какова же роль Франции, ее культуры, Европы вообще?

«Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна» (VI, 206), – пишет Пушкин, имея в виду спасение Европы от монголо-татарского нашествия. Мы сегодня можем добавить, что чувства благодарности не добавилось у Европы после спасения ее русскими от Наполеона и Гитлера, впрочем, как и у США после русской помощи в освобождении от английского владычества и помощи Линкольну.

Весьма резко Пушкин оценивает французскую культуру, которая господствовала в XVIII веке.

Так, по его мнению: «Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не доходила» (VI, 43), или «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический» (VI, 177). Даже для лучших французских писателей чувство изящного «чуждо и непонятно» (там же). Оценки французской литературы, словесности, философии, по Пушкину: «ничтожность», «натянутость и манерность», «тощая и вялая», «посредственная» (там же), «холодный скептицизм французской философии» с ее «упоительными и вредными мечтаниями, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения» (VI, 186). Люди с талантами, по мнению Пушкина, были поражены «ничтожностию и, должно сказать, *подлостью* французского стихотворства» (VI, 208). Все попытки принципиально изменить положение во французской словесности были тщетны: «Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!» (там же).

В результате в XVIII веке мы видим философию, чьим главным и любимым орудием стали «ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная» и гений века Вольтер излился в «цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов обругана…» (VI, 210). Вольтер «не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей» (там же, 278). Пушкин в достаточно резких словах отзывается о французской философии ушедшего века: «Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена», и дает оценку на примере влиятельного Гельвеция: «холодный и сухой», «пошлая и бесплодная метафизика» (там же, 232), «скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналя» (там же, 237–238).

Итак, век XVIII для Пушкина есть век французский и принесший свои плоды в виде войн Наполеона, которые несли страшную опасность России. Суть этого века, по его мнению, античеловеческая, разрушительная, циническая, сухая, холодная, площадная, демоническая, и в ней нет беспокойства о мысли и об истинной жизни, о святынях. Все это проповедовалось в итоге «с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни» и было *«Ужасом*» (там же, 236). Как известно, Достоевский в своей известной речи о Пушкине говорил: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!»

Действительно, не знают и знать не хотят. И Пушкин это понимал.

Повторю слова о якобы «дорогой» его сердцу Европе-Франции: гнусная, бесплодная, холодная, сухая, пошлая, циническая, бешеная, площадная, подлая, вредная, посредственная, тощая и вялая, антипоэтическая, натянутая, манерная, невежественная и неблагодарная! Говорят ли такие слова о дорогом, о святыне?! Достоевский явно приписал свое искаженное мнение Пушкину. Александр Сергеевич же словно видел европейское влияние на майдане в Киеве, видел убийства детей на Донбассе, видел, наконец, Кончиту Вурст и карикатуры «Шарли»!

Пушкин о немецком влиянии

Иное отношение у Пушкина к германской философии того времени. Как все помним, в то время немецкая философия была высшим достижением человечества: «влияние ее благотворно», хотя она «нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей» (там же, 186, 187, 270).

Романтизм кажется Пушкину много более живым смыслом жизни, хотя эти «другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими» (там же, 232).

Пушкин о сути западного общества и Америке

Свет будущего не видится Пушкину ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии: «Фонвизин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. …Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника…

Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что речь идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию» (там же, 195). Такова Европа, но оценкой ее Пушкин не ограничился.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя внимание людей наиболее мыслящих, – пишет Пушкин. – Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой; такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подвергались также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие американского Конгресса осуждены с негодованием…» (VII, 161).

Пушкин о мировом значении России

Какой видится Россия и ее роль и значение Пушкину?

Вот малоиспользуемое высказывание: «Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни, презирая ее, другие, ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят» (VI, 393), тем более что, по словам Пушкина, «высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, составляет во всей Европе одно семейство» (там же, 209).

Но Россия не похожа на Европу. Пушкин отмечает эту мысль особо: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: *иначе* *нельзя было быть.* Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая.* – мощного*,* мгновенного орудия провидения» (там же, 99–100).

Но это вовсе не значит, что Россия не имеет своей значительности в истории.

В споре с Чаадаевым Пушкин пишет: «Но у нас было свое особое предназначение… Нашим мученичеством энергическое развитие католической Европы было избавлено от всяких помех… У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности   
и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве… Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? …Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (X, 336–337).

Вот эта мысль Пушкину была столь нужна и важна, что он возвращался к ней много раз: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости: кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства» (VI, 155); «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. …Предрассудок сей, утвержденный демократической завистию некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» (там же, 39–40).

И Пушкин с гордостью описывал своих предков и при этом разъяснял свою позицию: «Но что есть общего между привязанностию лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства? …Но от кого бы я ни происходил – от разночинцев, вышедших во дворяне, или от исторического боярского рода, одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, образ мнений моих от этого никак бы не зависел; и хоть нигде доныне я его не обнаруживал и никому до него нужды нет, но отказываться от него я ничуть не намерен.

Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. …Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. …Конечно, есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами» (там же, 134–135).

Пушкин о Радищеве

Показательным для Пушкина является его отношение к Радищеву, из-за чего Пушкин даже написал полемическое произведение «Путешествие из Москвы в Петербург». Радищев, как известно, революционер, Пушкин же считает: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества…» (там же, 196). Однако это вовсе не значит, что Пушкин выступает за рабство. Так, приведя большую выдержку из сочинения Радищева о рабстве, Пушкин добавляет: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его на-  
дутых, но искренних мечтаниях… с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле…» (там же, 201). И все же основная тональность отношения к Радищеву другая: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственною книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию» (там же, 234). О философии Радищева Пушкин пишет так: «Умствования его пошлы и не оживлены слогом» (там же, 236). И далее о главном произведении Радищева: «Очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. …В Радищеве отразилась вся французская философия его века…» (там же, 237). Радищев «есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, наобум приноровленные ко всему… влияние его было ничтожно… ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (там же, 238).

Пушкин совершенно не согласен с оценками Радищева о положении русского крестьянина в сравнении с западными мерками. Описав положение французов и англичан, Пушкин пишет: «Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев). Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст вырабатывать себе деньгу…Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски. И везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют un badaud (ротозей. – *Н.Б*.); никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного   
презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего *собственного жилища.* Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою избу.* Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день…Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения…» (там же, 195–196).

Пушкин и сегодня живее всех живых, он все увидел и все понял, именно поэтому он казался Гоголю русским человеком в его развитии через 200 лет. Его мнение – это не мнение, а предсказание. Его суждения должно изучать и не ограничиваться при этом его поэтическими или художественными произведениями.

Поэт в России больше, чем поэт, а Пушкин в России много больше, чем поэт…